



**«ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»  
М. Е. Салтыкова (Щедрина),  
или «Полное изображение исторического  
прогресса с непрерывно идущими гадами»**

**Предыстория**

Главным украшением господского дома в имении Спас-Угол (центр вотчины Салтыковых в Тверской губернии) было панно из редких пород дерева с инкрустацией, которое было изготовлено по заказу Евграфа Васильевича Салтыкова в 1804 году. На панно было изображено многоветвистое генеалогическое древо, возводившее преславный род к XIII веку. Предметом особой гордости было родство с царствующим домом: супруга царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны, урожденная Салтыкова, была указана дочерью Федора Тимофеевича Салтыкова-Кургана, чьими прямыми потомками и числились тверские Салтыковы. Все это было вранье: никакого отношения к знатнейшему и известнейшему роду Салтыковых эта тверская «ветвь» не имела. Просто некий Тимофей Сатыков, получивший дворянство в 1630 году, самовольно начал писать себя Салтыковым. Настоящие бояре Салтыковы возмутились, били челом царю Михаилу Федоровичу о бесчестии, и возомнивший о себе Тимофей был бит в Разряде батогами. Но наказание результата не возымело, непокорный Тимофей Сатыков продолжал именоваться Салтыковым, и в XVIII веке эта приписка к чужому роду была внесена в гербовники. Таким образом, генеалогическое древо, под сенью которого и вырос будущий писатель, было произведением искусства как в прямом, так и в переносном смысле. Но одновременно это был наглядный урок русской истории: нахальство и неразбериха, батоги и несогласная спина, остроумие в изобретении способов «успеть», отношения писаной и неписаной традиций. История оказывалась не провиденциальной, а вполне рукотворной. Дед

Салтыкова, Василий Богданович, поручик лейб-гвардии Семеновского полка, был участником государственного переворота и награжден Екатериной; отец, Евграф Васильевич, был отставлен Павлом, а Александром I возвращен на службу, увлекся масонством, был «принят в число юстицких кавалеров Великого приорства Российского» (т. е. в орден мальтийских рыцарей). Мать Салтыкова, Ольга Михайловна, была дочерью богатого московского купца Забелина, который за большие пожертвования в 1812 году получил чин коллежского асессора и потомственное дворянство. 1762, 1796, 1801, 1812 годы принадлежали не только истории Отечества, но и истории семьи.

### **Семейный «погром» и «пошехонские привычки»**

Михаил Салтыков родился 15 января 1826 года. В семье было уже два брата и три сестры, потом родилось еще два сына. Семейство было своеобычное. Отец читал мистиков на нескольких европейских языках и в хозяйство не входил, мать (вышедшая замуж в 15 лет!), напротив, взялась за приумножение благосостояния и достигла фантастических результатов: она начала с 275 крестьян и 2 000 годового дохода, а перед реформой семья владела 2 877 душами, доходы же только с двух поместий превысили 25 000 рублей. При этом кормили в доме впроголодь, детей держали в темных и тесных комнатах, окружали родовую усадьбу болотины и гнилые леса, и только «мужики... кишели, как муравьи, в окрестных полях. Вследствие этого оживлялся и сельский пейзаж» («Пошехонская старина» — XVII, 10). Позже Салтыков вспоминал: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут... секут как следует, розгою, а немка, гувернантка старших моих братьев и сестер, заступает за меня, закрывает меня ладонью от ударов и говорит, что я слишком мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше...» (Макашин, I, 54—55). Общение большой семьи за вечерним чаем напоминало «чистый погром» (XVII, 25). Стилистику устной семейной речи замечательно передает письмо Евграфа Васильевича к старшему сыну Николаю, студенту Московского университета: «Воистину Христос воскрес! Николай Евграфович...

ты взял у меня английский перевод и до сих пор не можешь исправить, ну не говно ли ты человек, и к нещастию нашему сын наш, ох! как это прискорбно. А о „Живописном обозрении“ не хлопочи, уж я другим доверил его получить, а ты такая дрянь, с коею и дело иметь никому нельзя. Прощай, сын, недостойный нашего благословения и сожаления. Остаюсь огорченный отец твой Евграф Салтыков» (Макашин, I, 62). Так что в сочетании церковных формул, площадных ругательств и цитат из всемирных классиков для будущего писателя не было ничего необычного. Гротеск и оксюморон были частью детства — да и частью российской реальности как таковой.

«Пошехонские привычки» были предметом пожизненной ненависти Салтыкова и при этом глубоко вошли в его характер. Практически все мемуаристы говорят о тяжелом нраве, угрюмости, фантастической раздражительности, страсти к крепким ругательствам и прочих неблагоприятных качествах. Но те же мемуаристы говорят о том, что Салтыков был, в сущности, самый добрый человек, страдавший от приступов раздражительности чуть ли не больше, чем обиженные им люди, и старавшийся помочь всякому, кто к нему обратится. Простая истина о неприкосновенности человеческой личности, вымученная в постоянном столкновении с насилием — будь то насилие родителей, помещиков или государства, — стала основой убеждений М. Салтыкова и главным пафосом Н. Щедрина.

### **Лицей: генерал-майор Ростовцев и бунтовщик Петрашевский**

Образование Салтыков получил очень приличное: сначала занимался с гувернантками старших детей, потом чуть ли не самостоятельно, по тетрадкам тех же старших, подготовился к поступлению в третий класс Московского дворянского института, а в 1838 году был направлен на казенный кошт в Лицей, где и проучился до 1844 года. Лицей, правда, был уже не тот, что при Пушкине. В 1822 году он вошел в систему военно-учебных заведений, и «Наставление для образования воспитанников» разрабатывали уже не либеральные и просвещенные Сперанский и Малинов-

ский, а генерал-майор Я. И. Ростовцев. Его карьера началась с доноса на декабристов за два дня до восстания, а в 1858 году он возглавил Главный комитет по крестьянскому делу — то есть отмену крепостного права. Либералы были потрясены этим назначением и припомнили Ростовцеву его «Наставление». Философ и историк Ю. Ф. Самарин, а вслед за ним и Герцен (в «Колоколе») так формулируют главную идею воспитания по Ростовцеву: «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских сношениях ее заменяет высшее начальство» (Герцен, XIII, 300 и 571).

«Начальство» являлось сакральным словом в царствование Николая. В «Пошехонской старине» Салтыков вспоминает: «Время было глухое и темное. Правительство называли „начальством“...» (XVII, 442). Это важная оговорка. Правительство — это те, кто исполняют, начальство — те, кто командуют, повелевают. В городе Глупове «от начальства поставляются» не только градоначальники, но и национальные герои («от начальства поставленные Ахиллы»), а само «высшее» начальство периодически называется «вышним» — то ли правительство приравнивается к Господу Богу, творящему из хаоса космос, то ли Господь Бог приравнивается к всемогущему Чиновнику, но комплимент тут явно обоюдный. Николай очень любил четкие прямые линии: он одел в мундиры всех штатских, докрестил недокрещенных в предыдущие царствования зырян, собственноручно утвердил архитектурные проекты правительственных зданий и сделал еще многое для того, чтобы в России воцарилось единообразие и порядок, а частная жизнь перестала быть таковой и стала объектом неусыпной заботы государства. В стране не было обывателей, даже подданных не было, были начальники и подчиненные, ранжированные многообразными способами и сравненные друг с другом.

В Лицее Салтыков познакомился с Буташевичем-Петрашевским, который учился тремя курсами старше. Это знакомство позже сыграло роковую роль в судьбе Салтыкова. А пока будущее Салтыкова казалось расписанным на много лет вперед: в мае—июне 1844 года Салтыков выдержал выпускные экзамены и, как казеннокоштный студент, должен был отбыть шестилетний срок на государ-

ственной службе. 23 августа Салтыков определился сверх штата в канцелярию военного министерства и, как и все чиновники при вступлении на службу, подписал «Обязательство» не принадлежать ни к каким тайным обществам.

### **Поэтика и политика: Гедеонов и Беобахтер**

Служба была очень скучной, но вообще-то Салтыков в Петербурге не скучал. Хотя денег практически не было, он не пропускал ни одного спектакля, любил поиграть в карты и покутить в дружеской компании и одновременно начал печатать стихи, в которых «скорбел о будущности», что ввергло его мать в состояние глубокого удручения: «Что мой добрый Миша? все брюзжит?.. А мне кажется, что вся его хандра происходит от его поэзии, которая никогда мне не нравилась, потому что я много начиталась даже бедственных примеров насчет этих неизданных поэтов в деньгах. <...> Я ему никогда не советовала мечтать о своей поэзии на интересных видах. <...> А можно ли ему мечтать, имея службу! Это невозможно! Одним надобно чем-нибудь заниматься» (Макашин, I, 187). Но сгубила карьеру Салтыкова не поэзия, а проза.

С 1845 года Буташевич-Петрашевский начал устраивать у себя пятницы, на которые пригласил и своего лицейского приятеля Салтыкова. Петрашевский был человеком в некотором роде фантастическим. Он вел себя так, что многие считали его не вполне нормальным, и оставил о себе массу анекдотов: и о том, что его домашний халат был настолько рваным, что он надевал сначала его, а потом отдельно оторванный рукав; и о том, как, переодевшись в женское платье (на фоне которого потрясающе смотрелась его окладистая борода), посетил Казанский собор и нахамил тамошнему охраннику-жандарму, и проч. При этом Петрашевский был не только завзятый изобретатель эскапад, но и опасный мечтатель: он был страстным поклонником французских социалистов и мечтал о будущем всемирном благоденствии, основанном на единственно верном учении Фурье. А поскольку Петрашевский был переводчиком в министерстве иностранных дел и по долгу службы составлял описи конфискованных по суду библиотек, то «...он выбирал из этих библиотек

все запрещенные иностранные книги, заменяя их разрешенными, а из запрещенных формировал свою библиотеку» (П. С. Семенов-Тянь-Шанский — Первые русские социалисты, 78). Салтыков посещал пятницы Петрашевского до весны 1846-го (или начала 1847 года), в прения не вступал, но книжки изучал старательно. О причинах разрыва с Петрашевским мало что известно, но кое-что проясняет одна из первых повестей Салтыкова — «Запутанное дело», опубликованная в «Отечественных записках». В ней есть два пародийных персонажа — Беобахтер и Звонский, в которых, по воспоминаниям современников, узнавали петрашевцев Н. А. Спешнева и А. Н. Плещеева. Спешнев был одним из самых радикальных участников кружка, пропагандировавшим крестьянский бунт как способ уничтожения самодержавия, — и Беобахтер все время делает рукой жест, обозначающий движение гильотины, говорит многозначительными намеками и при этом к реальным страданиям главного героя, «маленького человека» Мичулина, относится весьма саркастически. Именно этого Беобахтера на полном серьезе вменяют в вину Салтыкову в роковом 1848 году.

Революция в Европе повергла Николая в ужас, и были предприняты спешные и гласные меры к пресечению заразы. Таким образом появился особый комитет по надзору за печатными изданиями, почему-то под началом морского министра А. С. Меншикова, задачей которого было найти и изловить вредных сочинителей, распространявших опасные мечтания. Первоначально таким козлом отпущения должен был стать некто К. С. Веселовский, чью статью «о жилищах рабочих» решено было представить как основной пример в докладе на высочайшее имя. Веселовский вспоминает: «В то время как они, за неотысканием чего-нибудь более веского, решили уже... принести в жертву меня, в заседание комитета является один из членов, кажется, П. И. Дегай, с радостным эврика! эврика! и заявляет, что в том же томе „Отечественных записок“, в котором напечатана статья Веселовского, он нашел нечто еще лучшее или худшее, — не знаю как сказать, — а именно повесть под заглавием „Запутанное дело“, подписанную буквами М. С., под которыми скрылся автор ее, Михаил Салтыков» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... I, 47—48). Видимо, в замене сыграло роль непосред-

ственное вмешательство одного из членов комитета — и по совместительству управляющего III Отделением — Л. Дубельта по доносу агента М. Геденова, охарактеризовавшего повесть так: «По моему мнению, общий смысл ее следующий: богатство и почести — в руках людей недостойных, которых следует убить всех до одного», а делается этот вывод на основании «гильотины» Беобахтера (Макашин, I, 288). Таким образом, Салтыков отправился в вятскую ссылку потому, что в Париже случился бунт; Николаю нужно было показать всем, кто в доме хозяин; а агент III отделения ничего не понимал в литературе и пародийный образ принял за авторское *credo*. Салтыков был немедленно арестован, 27 апреля получил уведомление о переводе в Вятку тем же чином, а 28 апреля отбыл туда прямо с гауптвахты.

**«Глубь провинции»:  
«совершенное отсутствие сновидений»**

В Вятке Салтыков прожил все «мрачное семилетие» николаевского царствования, с 1848 по 1855 год. С одной стороны, Салтыкову даже повезло: губернатор А. И. Серeda был человек честный, не взяточник, уважавший образованность и не чуждый либеральных идей. Салтыков ему импонировал, и присланный в 1853 году инспектор Волков пишет в своем отчете, что Салтыков «избалован Середой». С другой стороны, должность старшего чиновника по особым поручениям называлась, конечно, красиво, но на самом деле Салтыков занимался бесконечными дознаниями о мертвых телах, растратами пошлинных денег, злоупотреблениями в заготовлении арестантской одежды и взысканием с городского головы пяти рублей серебром, взятых заимообразно два года назад. Абсурд российской реальности превосходил все мыслимые пределы: когда в 1850 году Салтыков получил должность советника вятского губернского правления, в его ведение попали все поднадзорные, сосланные в Вятскую губернию. Ведомости о поднадзорных предоставлялись Николаю два раза в год, и Салтыков исправно свидетельствовал благонадежность самого себя (десятью годами раньше, в новгородской ссылке, в этой же должности рапортовал о своем приличном поведении и А. И. Герцен).



В Вятке впервые проявились многие таланты Салтыкова-администратора. По воспоминаниям Л. Н. Спасской, «провинция была в его глазах царством тьмы, в которое он надеялся заронить лучи света, возвестив новые, высокие откровения» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... I, 67). Салтыков развил бурную деятельность и привел в порядок делопроизводство в губернском правлении, за энергию, бескомпромиссность и ехидное остроумие получив прозвище «наш Мирабо». При этом с бумагами Салтыкову дело иметь было проще, чем с людьми. Когда Салтыкова отправили на следствие о беспорядках в г. Кай, ему так и не удалось достигнуть компромисса с крестьянами, и он вынужден был обратиться с просьбой о прекращении командировки. Методы же насаждения просвещения не отличались особой деликатностью: в одном из донесений Салтыкова читаем: «Чтобы достигнуть возможно большей искренности в выборах <речь идет о Слободской городской думе. — Е. Г.>, следует принять принудительные меры для привлечения мещан на общественные должности» (Макашин, I, 336). Принудительное достижение искренности — вещь совершенно в николаевском духе, и «пошехонские» тиранические замашки тут явно не соответствовали благородным целям.

Вятский опыт государственной деятельности был мучителен и парадоксален. С одной стороны, Салтыков-чиновник в борьбе с беззаконием бросился наводить порядок и все силы употребил на то, чтобы привести жизнь в соответствие с Законом. С другой стороны, он каждый божий день убеждался в том, что Порядок в его российском варианте есть насилие ничуть не меньшее, чем беззаконие. Занимаясь следствиями по делам раскольников, «сбежавших» от государства «на свободу», Салтыков встретил там ту же иерархию и то же деление на начальников и подчиненных, как и в своем собственном департаменте, а запрещая своим подчиненным брать взятки, Салтыков понимал, что тем самым пытается приказать людям быть честными и просвещенными.

Да и сама по себе провинциальная жизнь затягивала. Друг Салтыкова В. И. Танеев считал, что «главным обстоятельством, неблагоприятно повлиявшим на его [Салтыкова] здоровье, была нелепая и беспутная жизнь, которую он

вел во время своей ссылки в Вятке. Карты и вино, обыкновенное препровождение времени в провинции, оставили на нем неизгладимые следы» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... II, 217). Салтыков страдал жесточайшей депрессией — вместе со всей Россией.

### «Эпоха всеобщего конфуза»

18 февраля 1855 года, в двадцать минут после полудня, Николай I почил смертью праведника, и Александр II вступил на прародительский престол. Последние слова Николая были обращены к наследнику: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое» (РБС, I, 452). Но разрешенная Александром гласность и — как следствие — беспрецедентное обличение в печати «душегубского» царствования «незабвенного родителя» обозначали грядущие великие перемены. «Мирное, устроенное и счастливое» царство, как оказалось, еще и не начиналось, а пока началась, как скажет потом ехидный Салтыков, «эпоха всеобщего конфуза».

В ноябре 1855 года Салтыков получает от нового императора полное прощение с позволением «проживать и служить где пожелает». Незадолго до этого он сделал предложение Лизе Болтиной, дочери вятского чиновника, а впоследствии владимирского вице-губернатора, на которой вскоре и женился, несмотря на противодействие матери. Так что с 1856 года началась совершенно новая жизнь — как и у всех. Салтыков определился в центральный аппарат Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге, в одночасье потратил присланные матерью деньги на роскошную отделку квартиры на Галерной и ложу в Михайловском театре, при посредстве старого приятеля А. Дружинина перезнакомился с петербургскими литераторами и даже был избран действительным членом Императорского русского географического общества, а также был записан кандидатом в Английский клуб, стал завсегдатаем Шахматного клуба, и проч., и проч... А. М. Унковский вспоминает: «Одет он был тогда положительно щеголем: в лаковых штиблетах и шелковых чулках» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... II, 306). Сам Салтыков позже напишет: «То было время

всеобщих „сований“. <...> Я заметался вместе с другими». (XIII, 469—470). Среди прочих результатов «сований» и «метаний» отметим два: служебную записку об устройстве земских полиций и публикацию «Губернских очерков».

Салтыков составил записку «О лучшем устройстве земских полиций» по поручению товарища министра (то есть заместителя министра) внутренних дел Н. А. Милютина. Выводы Салтыкова, основанные, в частности, и на печальном вятском опыте, были самые радикальные: «Вмешиваясь во все мелочные отправления народной жизни, принимая на себя регламентацию частных интересов, правительство тем самым как бы освобождает граждан от всякой самобытной деятельности». И далее: «Настоящее положение полицейского управления в России представляет поучительную, но крайне грустную картину. Это какое-то странное смешение произвола и дисциплины, хаоса и регламентации» (Макашин, II, 52—53). Это и есть парадокс и закономерность русской действительности: чем больше предписаний и инструкций, тем меньше возможности их выполнять; страсть государства влезать во все освобождает подданных от ответственности за все, и именно тотальная регламентация порождает тот хаос, с которым и вступает в героическую борьбу. Сослуживец Салтыкова А. И. Артемьев записывает свои впечатления: «Салтыков... впадает в новую крайность, рассматривая все с точки зрения индивидуальной неприкосновенности, с точки той, что полиция не смеет нарушать семейного спокойствия, не смеет входить в дом и проч.» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... I, 93) — сейчас мы бы назвали Салтыкова правозащитником.

По сути дела, о том же «смешении хаоса и регламентации» написаны и «Губернские очерки», которые были напечатаны в тогда еще либеральном «Русском вестнике» М. Каткова под псевдонимом «Надворный советник Н. Щедрин». Так смешно и страшно о провинции, да и вообще о русской жизни писал только Гоголь, с которым Салтыкова начинают немедленно сравнивать и даже «ставить выше» (впрочем, тогда всех писателей сравнивали с Гоголем). Начинается слава: портрет Салтыкова печатается в «Сыне Отечества», в Малом театре идут инсценировки, Салтыкова приглашают участвовать в шести существующих

и двух еще не существующих изданиях, — и тут неожиданно он получает назначение вице-губернатором в Рязань. «Анекдотическая история крапивного семени» (А. Артемьев) в «Губернских очерках» произвела на Александра II столь сильное впечатление, что он, по преданию, сказал: «Пусть едет служить да делает сам так, как пишет» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... I, 181).

### **«Новая эра» Рязанского губернского правления**

Как раз в это время была проведена показательная ревизия в Рязанской губернии, и почти все высшие чиновники от губернатора до полицмейстера были отставлены «с распубликованием». Новое начальство должно было продемонстрировать преимущества нового просвещенного царствования, насадить честность и гуманность и вообще «распространить больницу, выбелить в присутственных местах потолки и собрать старые недоимки» («Помпадуры и помпадурши» — VIII, 8). 13 апреля 1858 вице-губернатор Салтыков прибыл в Рязань и начал «самодержавной рукой» «твердо сеять просвещение», заслужив уже новое прозвище — вице-Робеспьер. Некий Васильев пишет бывшему сослуживцу Н. Тизенгаузену (письмо известно по перлюстрации III Отделения): «Многих бывших при нас секретарей и столоначальников не стало, а те, которые и остались, отходя ко сну, не знают, что будет завтра. Все землемеры отданы под суд. Бедная Рязань! Настали и для нее бироновские времена! Между тем благодарят губернатора за его посредничество, иначе давно перевешали бы всех. Все дело в том, что Салтыков составил себе идеал чиновника. И хочет подвести под этот идеал всех, а Ральгин [рязанский прокурор] пособляет ему, как сильному. Видно, тот, кто пишет, или, лучше, описывает других хорошо, не всегда видит свои промахи, и от этого могут быть последствия еще хуже описываемых Щедриним. Цель-то правительства не достигается: из-под страха что за служба. А горбатых не только Салтыков, но и могила не исправит» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... I, 102). При этом восторженных воспоминаний бывших подчиненных гораздо больше, результат деятельности налицо (например, за полгода количество неисполненных бумаг в губернском правле-

нии сократилось с 1147 до 194), штаб-офицер жандармского корпуса Ивашенцев доносит по начальству, что «со времени вступления его [Салтыкова] в настоящую должность дела по губернскому правлению идут успешно, внутренний порядок в губернском правлении улучшен, неблагодежнейшие из чиновников удалены, существующая продажа мест прекращена и все прочие злоупотребления преследуются. Но Салтыков нелюбим в губернии за неприятные манеры и грубое его обращение» (Макашин, II, 197).

И так было в продолжение всей чиновничьей карьеры Салтыкова — с января 1865 по июнь 1868 года Салтыков, перейдя в Министерство финансов, возглавлял казенные палаты последовательно в Пензе, Туле и Рязани и везде днем и ночью искоренял злоупотребления, собственноручно перedelывал все плохо составленные бумаги, ревизовал нерадивых и внушал трепет и восхищение своим подчиненным. Он был отличный чиновник: умный, честный и компетентный, — но при этом чудовищный начальник и подчиненный: грубый, постоянно раздражавшийся и ругавшийся как извозчик, невзирая на лица. Служба провоцировала все «пошехонские» привычки: от глупости и нечестности, которых было вокруг немерено, Салтыков впадал в такой праведный гнев, что сметал все на своем пути. Но дело было не только в личных привычках и в том, что они противоречили убеждениям. Просвещенное государство Александра II, как выяснилось, точно так же стремилось влезть во все подробности жизни, как и непросвещенное государство Николая I: чиновники беспрестанно плодили циркуляры и стремились «привести в соответствие» все, что попадалось на их пути. С этой точки зрения идеальный чиновник становился фигурой не спасительной, но зловещей. Расплевавшись со всем начальством каким только можно, в 1868 году Салтыков выходит в окончательную и бесповоротную отставку. Когда М. И. Семевский будет беседовать с Салтыковым 6 февраля 1882 года, Салтыков скажет ему: «О времени моей службы я стараюсь забыть. И вы ничего о ней не печатайте. Я — писатель, в этом мое призвание» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях... I, 184). И все же без трудного опыта государственной службы писатель Щедрин был бы совсем другим, а глуповские градоначальники вряд ли появились бы на свет.

## Эпоха «ошпаривания» и появление города Глупова

После отставки Салтыков становится одним из соредакторов журнала «Отечественные записки». Нужно сказать, что у Салтыкова уже был редакторский опыт — правда, скорее печальный. Осенью 1862 года, после первой отставки, он вошел в редакцию журнала «Современник». Время было горячее (реформу 1861 года Салтыков назвал «ошпаривание»): в деревнях были бунты, в столицах — нигилисты. Когда летом 1862 года начались пожары в Петербурге, общественное мнение обвинило в них студентов с их прокламациями, а когда в начале 1863 года вспыхнуло еще и польское восстание, отечество было объявлено в сугубой опасности. «Современник», в числе прочих изданий, был приостановлен на восемь месяцев. Именно в 1861—1862 годах складывается цикл очерков, в которых впервые появляется город Глупов — «сборное место», вездесущая «муниципия»: «Я должен сказать правду: Глупов составляет для меня истинный кошмар. Ни мысль, ни действия мои не свободны: Глупов давит их всею своею тяжестью; Глупов представляется мне везде: и в хлебе, который я ем, и в вине, которое я пью. Войду ли я в гостиную — он там, выйду ли я в сени — он там, сойду ли в погреб или кухню — он там... В самый мой кабинет, как я ни проветриваю его, настойчиво врываются глуповские запахи» («Глуповское распутство» — IV, 234).

Салтыков пришел в «Современник» накануне его возобновления. Цензура была жесткой, но еще более жесткими оказались правила игры «партийной» журналистики. И проправительственные, и антиправительственные издания не терпели нападков на «своих». А Салтыков не терпел диктатуры — идеологической тем более. В результате почвеннический журнал «Время» во главе с Ф. Достоевским, левацкий журнал «Русское слово» во главе с нигилистами В. Зайцевым и Д. Писаревым и «Современник» устроили между собой «беспримерную в летописи российской словесности ругань» (Достоевский, XX, 131). Началось все со скептических высказываний Салтыкова о вере Достоевского в мистический смысл русского смирения и не менее скептического отзыва о «радостном труде» в хрустальном дворце Черны-

шевского. А закончилось взаимными оскорблениями, так как «разносительными талантами» обладали все участники «раскола в нигилистах» (так обозвал эту распрю ехидный Достоевский). Салтыков ушел из журнала в конце 1864 года и в начале 1865-го вновь стал чиновником.

### «Истории у Глупова нет...»

И вот — вторая отставка и вторая редакция, только время еще более тяжкое: после покушения Каракозова на Александра II в 1866 году и покушения Березовского в 1867 году «прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяет потребностей времени, мерещится что-то вроде прекрасного здания, у которого и в основании положена строгость, и стены сложены из строгости, и крышу, то есть венец создания, составляет строгость же», «построить такое здание и засадить туда россиян» («Письма о провинции», VII, 307 — отметим типичную для Салтыкова игру слов — «здание из строгости» — «острог»). Вроде и реформы потихоньку движутся, и гласность еще не отметили, но довольных уже не осталось, и на смену надеждам приходит отчаяние: «Я не говорю: жертвы бесполезны, я говорю только, что дозволительно изумление. Люди и даже дела их исчезают на наших глазах поистине беспримерно. Точно в яму, наполненную жидкой грязью, нырнут, и сейчас же над ними все затянет и заплывет. Вчера еще был человек, а сегодня его уже нет» (VII, 339).

Для Салтыкова нынешний виток истории — от «конфуза» через «сования» к новой «строгости» — стал лишним примером фантастической энтропии русской истории: каждое новое «насаждение просвещения» яростно отрицало предыдущее, в ходу была фраза «строиться в пустыне», история постоянно начиналась снова — но постоянно и заканчивалась возвращением к тому самому месту, откуда началась (прямо как история храма Христа Спасителя в наше время: то «не было никакого храма», то «не было никакого бассейна»). В одном из первых рассказов из «глуповского» цикла 1862 года Салтыков писал: «Истории у Глупова нет: факт печальный и тяжело отразившийся на его обитателях, ибо, вследствие его, сии последние имеют вид растерянный и во-

обще поступают в жизни так, как бы нечто позабыли или где-то потеряли носовой платок». Конец 1860-х становится временем исторической рефлексии, историки публикуют монографии одну за другой. Но «История одного города» была написана как антиистория, как Эзопова басня, как правозащитная «Хроника текущих событий».

### Глуповское градоначальство

Градоначальник — это не городничий. Градоначальник — «должностное лицо, стоящее во главе города, выделенного из состава губернии в самостоятельную административную единицу вследствие его особого значения или географического положения. Градоначальник назначается... как и губернатор, т. е. Государем по представлению Министра внутренних дел. Права и обязанности градоначальника... те же, что и у губернатора. <...> В частности, градоначальнику, подобно губернатору, предоставлено право издавать обязательные постановления и призывать войска для охраны порядка, когда полицейской силы окажется недостаточно» (Гранат). Градоначальство состоит из «города и прилегающих к нему местностей» (Березин).

Градоначальства были учреждены именным указом императора Александра I от 8 октября 1802 года (Свод законов Российской империи. Т. XXVII; хотя сам термин встречался еще в указах Екатерины) в основном на побережье Черного моря, потому что колонизация этих новоприсвоенных земель, по сути дела, была сплошным административным экспериментом. В отличие от сибирских и камчатских земель, коренные жители которых остались в неприкосновенности, а российская колонизация выражалась большей частью в поставлении каторжников, в Новороссии было множество «цивилизованных» поселений, которые после присоединения Крыма к России стали быстро прирастать беглыми греками с «островов» — то есть из Оттоманской империи (Ламврокакис в «Описи градоначальников» такой беглый грек). Особые уставы градоначальств Одесского, Керчь-Еникальского и других отличались, с одной стороны, максимальным благоволением к сложившемуся порядку (например, в Одессе специфика населения учи-



тывалась настолько, что при градоначальнике полагалась даже особая должность — ученый еврей), а с другой стороны, предоставляли настоящую целину для имперской цивилизаторской политики. Поэтому вышедшая в 1837 году книга «одесского жителя» А. Скальковского «Первое тридцатилетие истории города Одессы» кажется прологом к «Истории одного города» (кстати, она начинается предисловием архивариуса, называющего свой труд «летописью», а заканчивается приложениями, включающими список одесских градоначальников и разные документы). По сути дела, вся история Одессы — это описание административного творчества ряда градоначальников. Де Рибас в царствование Екатерины II основал порт и одно из первых военных поселений из числа тех самых беглых греков. Павел по восшествии на престол прислал нового градоначальника по фамилии Пустошкин, Комиссию строения южных крепостей и Одесского порта упразднил, а построенную верфь признал «для края бесполезною» (как тут не вспомнить Негодяева, который размостил замощенные мостовые!). Дальше следует анекдотический сюжет о том, как богатые греки отправили ходатая с дарами (апельсинами) в Петербург, чтобы добиться разрешения завести в Одессе самоуправление, как в Риге и Ревеле, ну заодно и портофранко, а в результате в город были присланы «огромные фолианты» из архивов Юстиц-коллегии «на шведском, немецком и латинском языках», на основании которых одесские греки, итальянцы, молдаване, болгары и евреи «должны были управляться» — и т.д. В истории Одессы есть даже своя горчица — страсть Ришелье к разведению садов и белой акации в особенности — и своя де сиянс академия — Ришельевский Лицей. В связи с этим неожиданный смысл получало, между прочим, указание на то, что земли Глупова «смежны с Византией», а мечты о древней Пропонтиде — т.е. Мраморном море — тревожат градоначальника Бородавкина. Именно черноморские порты торговали с Константинополем даже в разгар русско-турецких войн.

Новороссийские градоначальства, получившие развитие в какие-нибудь 30—40 лет, более, чем другие города, претерпели от калейдоскопической смены правительственных идеологий, тем более что градоначальники были наделе-

ны особыми полномочиями, изо всех сил старались оставить свой след в истории, срочно превратить захудалую молдавскую или греческую деревню в европейский вольный город с музеями древности и оперными театрами, — и абсурдность узаконений и постановлений больше бросалась в глаза — как в ускоренном движении чаплинского немого кино.

Конечно, город Глупов не Одесса и не Херсон. Его топография призрачна, как он сам: он заложен на болотине, сквозь которую протекает река — как Петербург, и одновременно он расположен на семи холмах и имеет три реки — как Москва. Салтыков называет его «злосчастной муниципией» — муниципиями римляне называли завоеванные города, которые сохраняли свои законы и самоуправление. Градоначальство было удобным локусом для создания истории одного города: оно было достаточно независимым, чтобы градоначальники могли творить, и все же всегда неподалеку находилась «губерния», из которой можно было вызвать команду для усмирения недовольных цивилизацией.

### **Экспонат для погодинского «Древлехранилища»**

«Глуповский летописец», ставший основой повествования об «одном городе», — это летопись, хронограф и степенная книга одновременно, начинающийся «историческим баснословием» (так называли легенды о происхождении народов в летописях), располагающий события по годам и царствованиям и насыщенный этикетными летописными формулами.

Летописи для историков середины XIX века уже не были «редкостями», они изучались и издавались, а главное — служили основанием для многих научных теорий. Но «Летописец» для Салтыкова был не только поводом подразнить «грозного Михаила Петровича Погодина». Опубликованные летописи становились частью современной литературы и заставляли по-новому взглянуть на русскую историю.

Настоящая летопись совершенно иначе относилась к течению времени и к событиям, чем историки нового времени: летописец не делил события на важные и неважные, не искал в истории прогресса, а все события для него существовали как бы в двух планах — временном и вечном: любое деяние соотносилось с аналогичным в Священном

Писании и как бы повторяло его. Время одновременно и обновлялось (потому что что-то происходило), и оставалось неизменным (потому что по сути ничего не менялось), только эпохи процветания при праведных князьях сменялись эпохами разорения при неправедных. Любое событие, любой катаклизм был связан с вмешательством провиденциальных сил, карающих и приводящих в трепет.

То же происходит и в Глупове: «Летописец» без разбору повествует о событиях эпохальных и повседневных, градоначальники производят множество действий и с удивительной быстротой сменяют друг друга, но собственно исторического движения нет: каждая новая «война за просвещение» есть повторение предыдущей и нет ничего удивительного в желании еще раз взять уже взятую крепость Хотин (кстати, реальный Хотин «отходил» к России с 1739 по 1809 год). Как только заканчивается очередное «градоправление», его плоды в лучшем случае немедленно распахиваются под капусту и горох, а в худшем — о том, что здесь когда-то «существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация», свидетельствуют только человеческие кости и груды кирпича («Войны за просвещение»). В роли Божьего промысла с успехом выступает начальство, которое появляется и в виде демиурга-градоначальника, и в виде апокалиптического облака с вострубившими солдатами-архангелами. Эпохи же процветания и разорения зависят не от праведности или нечестивости, а от административного рвения или безделья, да и тут все наоборот: чем более рьяный начальник, тем быстрее глуповцы обрастают шерстью и перестают говорить членораздельно. Для настоящего летописца все эти набеги, пожары, разорения есть знак суеты, призрачности человеческой жизни с точки зрения Вечности. Но те же набеги, пожары, разорения и та же призрачность человеческой жизни, никуда не девшиеся за «тысячелетие Руси» (с помпой, между прочим, отмеченное в 1862 году), производят совершенно другое впечатление: «Я говорю только, что дозвоительно изумление».

Но вернемся к истории. В главе «От издателя» упоминаются «гг. Шубинский, Мордовцев и Мельников» и «грозный образ Михаила Петровича Погодина», в «Обращении к читателю» — г. Бартенев, а в главе «О ко-

рени происхождения глуповцев» — Костомаров, Соловьев и Пыпин. Кроме того, в журнальном варианте был еще и Семевский. Все это известные историки, разных школ и разного калибра, и «издатель М. Е. Салтыков (Щедрин)» обозначал еще один контекст для своего труда — современную историческую науку. Разберемся по порядку.

### **«Анекдотическая школа», «польская интрига» и «Сказание о шести градоначальницах»**

Начнем с «гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова». С. Н. Шубинский (1834—1913) совмещал военную карьеру с историческими разысканиями, в 1869 году (год работы Салтыкова-Щедрина над «Историей одного города») переиздал свой первый большой исторический труд — «Собрание анекдотов о князе Потемкине-Таврическом». Отношение Салтыкова к уровню исторических трудов Шубинского было следующим: «...это человек, роющийся в говне и серьезно принимающий его за золото» (из письма к А. Н. Пыпину, XVIII, 2, 75). В рукописи и журнальном варианте вместо Шубинского был М. И. Семевский (1837—1892), историк и публикатор, впоследствии редактор журнала «Русская Старина», а в шестидесятые годы — «специалист» по анекдотам из придворной жизни, преимущественно XVIII века. Любопытно, что чуть дальше будет упомянут П. И. Бартенев (1829—1912), историк, археограф, библиограф, издатель «публикаторского» журнала «Русский Архив» — так вот, в журнальном варианте вместо него опять-таки был Семевский. Для Салтыкова все это были историки взаимозаменяемые и репутации весьма сомнительной.

Салтыков называл их «фельетонистами-историками» «анекдотической школы». Альковная история гривуазных царствований XVIII века пользовалась огромным читательским спросом и без каких бы то ни было комментаторских и исследовательских усилий приносила барыш. К главе «Сказание о шести градоначальницах» в журнальном варианте было специальное примечание: «Издатель даже не решился бы печатать эту историю, если бы современные фельетонисты-историки наши гг. Мельников, Семевский,

Шишкин и другие не показали, до чего может доходить развязность в обращении с историческими фактами. Читая предлагаемое „Сказание“, можно даже подумать, что „Летописец“, предвосхитив рассказы гг. Мельникова и Семейского, писал на них пародию» (ОЗ, 1869, № 1, 301).

Другое дело, что сама эпоха от Екатерины I до Екатерины II провоцировала такой тон. Салтыков в «Сказании...» «пародировал» «развязность» не только «историков-фельетонистов», но и их героев. Русские императрицы не просто заводили себе любовников, они доставляли своим фаворитам Россию как приданое, и последствия этих «амуров и атуров» могли быть самые глобальные — от дворцовых переворотов до планов создания православной империи в границах прежней Византии. Дух отчаянного авантюризма и бесстыдства довлел эпохе «дворцовых переворотов» — и вдохновлял на дерзания шесть градоначальниц. Салтыкову тут и сочинять особо не пришлось. Приведем один пример. П. Бартнев в 1869 году публикует в своем сборнике «Осьмнадцатый век» книгу Екатерины II «Антидот», в которой Екатерина честит некоего Ш. д'Отероша, описавшего воцарение Елизаветы так: «Елисавета, в сопровождении четырех человек, отправляется во дворец, чтобы завладеть империею» (Осьмнадцатый век, IV, 304 — источник указан Г. В. Ивановым, VIII, 565). Как тут не вспомнить бесстыжую Клемантинку, склонившую «на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды» и завладевшую городом!

Упоминание в общем списке «фельетонистов» П. И. Мельникова тоже неслучайно. П. И. Мельников (псевд. Печерский, 1818—1883) был чиновником Министерства внутренних дел и многие годы занимался следствиями по делам раскольников (работавший с ним по долгу службы Салтыков называл его «Павел Иванович Чичи-Мельников» и говорил, что он «подлец не злостный, а по приказанью» — XVIII, I, 205, 224). С начала 1860-х он постоянно печатался в «Русском вестнике» Каткова, который все больше и больше впадал в великодержавную истерию. В результате появилась написанная Мельниковым по заказу министра внутренних дел брошюра для народного чтения «О Русской Правде и польской кривде» (1863), которую пораженный Салтыков назвал «плодом горячечного бреда» (V, 387), а потом ис-

торический очерк «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская» (1868), в котором все неприятности в России объяснялись «бесспорно польским делом».

Польское восстание 1863 года стало серьезным испытанием и для правых, и для левых, да и для государства вообще. Правительства Франции, Великобритании, Австрии поддерживали многочисленную польскую эмиграцию, предъявляли ультиматумы, и в России начинали поговаривать о войне. М. Катков (и его газета «Московские ведомости») из соображений «государственной целостности» отстаивал самые решительные карательные меры и последующую русификацию Польши, «правительство боялось его и вместе с тем заискивало перед ним» (Феоктистов, 144), в народе же обвиняли поляков во всех смертных грехах. Даже либерал и гуманист, друг Герцена и Тургенева, критик В. Боткин писал И. Тургеневу: «Внутри России страшные пожары, и нет никакого сомнения, что поджигают поляки» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка... 212). На этом фоне вездесущие паны Кшешпищюльский и Пшекшищюльский и их компатриотка Анеля Алоизиевна Лядоховская, неустанно плетущие «новую польскую интригу», придавали событиям в городе Глупове геополитический масштаб. Правда, и катковско-муравьевско-вешательские идеи, в свою очередь, прекрасно вписывались в «Глуповский Летописец».

Кстати, о геополитике. Бородавкин в духе «политической мечтательности», бывшей «в то время в большом ходу», сочиняет планы похода на Византию, а потом и «на Драву, Мораву...» и далее до Дуная. По внутренней хронологии романа действие происходит в екатерининское царствование. Простодушный Шубинский в своей «монографии» о Потемкине пишет, что влюбленный Потемкин только и думал о том, как отблагодарить императрицу за ее милости, и в результате родился план фантастического подарка: «Он задумал доставить русской императрице обладание Черным морем, уничтожить Турцию, разделить ее с Австрией, восстановить Грецию под скипетром одного из внуков Екатерины, овладеть Польшей и, поставя русского орла над воротами Византии, явить русское царство первым в Европе» (Шубинский, 19). Это был знаменитый «вос-

точный», или «греческий», проект Потемкина, в результате которого главным врагом России стала Турция, а второго своего внука Екатерина назвала Константином, мечтая посадить его в Константинополе.

Но идея новой Византии никуда не девалась и в прагматический XIX век, только стала называться панславизмом: романтическая поддержка всех славянских народов, лишенных своей государственности (был создан даже «Благотворительный славянский комитет»), и зубодробительное удерживание Польши в составе Российской империи становились частями единой идеи: создание великой славянской империи (за то, что они славяне, полякам прощали даже то, что они католики). Бородавкин цитирует стихотворение славянофила А. С. Хомякова, написанное в 1847 году, — «Беззвездная полночь дышала прохладой...»:

И клир, воспевая небесную славу,  
Звал милость Господню на Западный край,  
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,  
На шумный и синий Дунай.

Это перечисление «славянских» рек в 1847 году было еще скромным по сравнению, например, с мечтательной «Русской географией» Ф. Тютчева, написанной годом позже — в печально известном 1848-м:

Семь внутренних морей и семь великих рек...  
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,  
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...  
Вот царство русское...

По сравнению с Тютчевым Потемкин казался скромным и непритязательным. Но Тютчев и Хомяков были прежде всего сочинители (как и Бородавкин, кстати). После поражения в Крымской войне в 1856 году идеи реванша начинают «овладевать массами», Александр II, по воспоминаниям, еще цесаревичем мечтает о выходе в Дарданеллы (т. е. через ту самую древнюю Пропонтиду — Мраморное море), а брату императора Константину Николаевичу начинают прочить константинопольский престол. Погодин начинает свою монографию о «норманнском вопросе» 1859 года следующим пассажем: «Современные обстоятельства тре-

буют, кажется, напоминовения о первоначальной русской истории: все мысли, все чувства, желания, молитвы наши устремлены теперь на Дунай, к Черному морю, в Константинополь. А разве не туда же какой-то непреодолимой чуткою силою тянуло молодую Русь в продолжение первых двухсот лет ее существования?» (Погодин, I). Таким образом, русская история приобретала мессианский вектор: она должна была пройти путь «из варяг в греки» и по дороге объединить всех страждущих славян. В 1867 году в Москве открылась Славянская этнографическая выставка, Александр II приветствовал прибывшие из Турции и Австро-Венгрии славянские делегации как «родных славянских братьев на родной славянской земле», на что Салтыков в «Дневнике провинциала в столице» ворчал: у нас все время то «братья», то «друзья», то «гости»...

Обращен проект Бородавкина к К. И. Арсеньеву, преподававшему географию Александру II, когда тот еще был Наследником, и сопровождавшему его в 1837 году в путешествии по России. Учебник Арсеньева «Краткая всеобщая география» с 1818 по 1849 год выдержал 20 изданий. Идеи «новой русской географии» витали в воздухе, тем более что и болгары, и сербы постоянно бунтовали (прямо как поляки!), и вскоре последовала Шипка (всего-то через восемь лет после выхода «Истории одного города»), да и к сербам развилась самая прочная привязанность. Так что геополитиком Бородавкин был самым что ни на есть злободневным.

Но вернемся к историческим теориям.

### **«Вечевое начало» в русской истории и «общее судьбище»**

К трудам упомянутого в общем списке Д. Л. Мордовцева (1830—1905) Салтыков относился спокойнее, даже печатал его в «Отечественных записках». Полемика здесь была другого рода. Мордовцев принадлежал к школе Н. И. Костомарова. Н. И. Костомаров (1817—1885) считал, что русское государство началось с «вечевой вольницы», а единодержавие привито великорусскому народу татарами из Золотой Орды. Костомаров много занимался



казачеством и разными народными бунтами и не скрывал своей антипатии к единодержавию, — правда, бунты в трудах Костомарова тоже выглядели не очень симпатично, уж больно много было крови и насилия. У Мордовцева тоже действовали «центробежные силы» (т. е. всякого рода бунтовщики) и «центростремительные силы» (т. е. государство), и в результате их совместного действия происходил «свободный рост в истории». В главе «Органчик» народное вече по-детски радуется назначению нового начальника. В «Сказании о шести градоначальницах» «вечевое начало» превращается в остервенелую толпу, которая на все события в городе реагирует единообразно: сбрасывает с раската и топит бесконечных «Ивашек», бьет стекла, гуляет с «трех бочек пенного» и тут же вырывает крамолу из самой себя — т. е. осуществляет «скромный подвиг собственного спасения». Вече превращается в «общее судьбище» — это когда каждый судит своего ближнего и, «по краткословному судоворению», расправляется посредством «шлеп-шлеп-шлеп». «Свободного роста в истории» не получается, а получается безостановочное «бездельное и смеха достойное неистовство».

Кстати, о стратегаеме с варом, которой заканчивается междоусобие. Клопы, выступающие на стороне глуповцев в их борьбе с незаконными женками, были давними сподвижниками российского правосудия. Например, Герцен в 1861 году публикует в «Колоколе» следующую заметку: «Потапов вступил в должность московского обер-полицеймейстера. <...> Знает ли он, что при яме (да чуть ли нет чего-то подобного и в остроге) есть клоповники, особые конуры, в которые бросают колодников, по усмотрению телесного начальства, на съедение клопам, точно так, как в Риме христиан отдавали на терзание другим свирепым зверям, крупнейшего роста, но без скверного запаха. Языческое наказание это, совершающееся в виду Успенского собора, тем хуже, что животные, которыми травят русских, не имеют религиозных чувств львов в пещере Даниила, ни чувств благодарности Андроклова льва. В них нет благородных порывов. Они — как русский чиновник, как русский полицейский — кусают постоянно, сосут понемногу и отвратительно пахнут всегда» (Герцен, XV, 31—32).

## **«Государственная школа» и польза «уничтожения обывателей»**

«Государственная», или «историко-юридическая», школа называлась так потому, что изучала историю русского государства и права. К. Д. Кавелин (1818—1885), С. М. Соловьев (1820—1879), Б. Н. Чичерин (1828—1904) — были люди либеральных и западных взглядов, и из всех историков — самые симпатичные либералу и западнику Александру II, недаром именно Соловьев и Чичерин преподавали историю сначала наследнику Николаю Александровичу, а после его смерти, с 1866 года — будущему Александру III. Начиная с 1859 года Соловьев печатает «Историю России с древнейших времен» — авторитетнейший 29-томный труд, от которого со временем пошли все учебники истории. В сущности, историки-государственники были последователями Гегеля, считали главным в истории развитие идеи общегражданского государства — т. е. такого государства, которое есть единство «народа, территории и верховной власти».

В нашумевших работах Кавелина «Мысли и заметки о русской истории» и Чичерина «О народном представительстве» (обе — 1866 года) крепостное право рассматривалось, прямо по Гегелю, как абсолютно «разумное и действительное» на определенном этапе развития России: уклад, когда «все и вся было крепостное, обязанное нести службу или отправлять работу до смерти и наследственно», был «полезен и благодетелен, потому что помог образоваться и установиться политическому телу» (Кавелин, 161) — т. е., не будь крепостного права, и Россия как государство развалилось бы. Б. Чичерин вообще считал, что без героических «действий правительства» Русь бы расплзлась по бескрайним степям не хуже татар: «Нелегкое было дело при недостатке средств, при скудости народонаселения ловить человека по обширным пустырям и принудить его к исполнению своих обязанностей» (Чичерин. *Опыты*, 382).

Понятное дело, что эта благодетельная роль крепостного права на данный момент объявлялась исчерпанной, государству нужно было уже не ловить людей, а прорасти в них политическими свободами, но получалось это пока неважно:

«Как скоро с нас снимается внешнее ярмо и предоставляется нам доля свободы, мы тотчас предаемся полному ей разгулу» (Чичерин. О народном представительстве, 414) — и глуповцы в эпоху «увольнения от войн», предоставленные сами себе, начинают немедленно предаваться разгулу.

Салтыков называл статьи Кавелина «эквилибристикой» (хотя по-человечески относился к нему хорошо) и считал, что о благодетельности крепостного права в конце 1860-х лучше было не упоминать: его сторонники и так все время требовали реванша.

В главе «Поклонение мамоне и покаяние» говорится о «целой исторической школе», которая описывает, как с одной стороны «представляется сила, подкрадываясь издалика и успевшая организовать и окрепнуть», а с другой — «рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки». Из «взаимных отношений» этой силы и этих людишек произрастает не «общественное тело», а «уничтожение обывателя»: тот же Бородавкин постоянно рыщет в поисках затаившихся глуповцев с единственным токмо желанием — приобщить их к просвещению, но глупые глуповцы предпочитают прятаться «по обширным пустырям», что, впрочем, не спасает их от окончательного расточения.

### **«Грозная тень Михаила Ивановича Погодина», или Лягушки в свете норманнской теории**

Глава «О корени происхождения глуповцев» была написана последней и напечатана в сентябрьском номере «Отечественных записок» за 1870 год после главы об Угрюм-Бурчееве — и после полугодичного перерыва в печати романа. Эти главы стали началом и концом глуповской истории. Начало, опубликованное после заключения, должно было объяснить, откуда же все эти напасти взялись. В истории призывания глуповцами князя нетрудно было усмотреть намек на «норманнскую теорию», самым ярким последователем которой и был «грозный» М. И. Погодин (1800—1875) — историк и писатель, знаток и собиратель русских древностей.

В 1859 году Погодин издал монографию «Норманнский вопрос в русской истории», в которой легенду «По-

## СОДЕРЖАНИЕ

«История одного города» М. Е. Салтыкова (Щедрина), или «Полное изображение исторического прогресса с не- прерывно идущими гадами». <i>Е. Н. Грачева</i> . . . . .	5
---	---

### ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ . . . . .	59
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ . . . . .	62
О КОРЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛУПОВЦЕВ . . . . .	65
ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ . . . . .	75
ОРГАНЧИК . . . . .	80
СКАЗАНИЕ О ШЕСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦАХ . . . . .	97
ИЗВЕСТИЕ О ДВОЕКУРОВЕ . . . . .	114
ГОЛОДНЫЙ ГОРОД . . . . .	117
СОЛОМЕННЫЙ ГОРОД . . . . .	135
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК . . . . .	150
ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ . . . . .	156

ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН . . . . .	184
ПОКЛОНЕНИЕ МАМОНЕ И ПОКАЯНИЕ . . .	208
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .	248
ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ . . . . .	286
КОММЕНТАРИИ	
<i>Е. Н. Грачева, А. В. Востриков</i> . . . . .	300